

Джек  
ЛОНДОН

---



## СЫН ВОЛКА

### БЕЛОЕ МОЛЧАНИЕ

**К**армен не протянет, пожалуй, и пары дней. — Мэйсон выплюнул ледышку и с сожалением посмотрел на собаку. Потом снова взял ее лапу в рот, продолжая обкусывать намерзший меж пальцами лед.

— Никогда, знаешь, я не видал, чтобы собака с благородным именем была на что-нибудь годна!.. — сказал он, кончая это занятие и отбрасывая животное в сторону. — Они все какие-то чахлые идохнут от слишком развитого чувства ответственности. Разве заболевают собаки с простенькими именами, вроде Кассияр, Сиваш или Хёски? Вот посмотри на Шукума, — он...

Тррах! Скелетообразный зверь сделал страшный прыжок, и его белые зубы промелькнули у самой глотки Мэйсона.

— А-а, чтоб тебя... — Затрещина по уху, удар кнута — и животное уже лежало в снегу, слабо взвизгивая, а желтая пена бежала у него изо рта. — Так вот я говорю: Шукум, сам-то он как будто еле волочит ноги, а вот увидишь, он съест эту Кармен. Не пройдет и недели, как съест.

— А у меня предложение как раз обратное, — отвечал Мельмут Кида, поворачивая замерзший хлеб, поставленный к огню. — Давайте-ка съедим лучше Шукума, пока он еще чего-нибудь не предпринял. Что ты скажешь на это, Руфь?

Индеанка поставила кофе на обломок льда и перевела глаза с Мельмута Кида на мужа и потом на собак. Она не сказала ничего. Все это были чересчур явные трюизмы<sup>1</sup>, и говорить не стоило. Впереди двести миль непрерывного пути с жалким шестидневным запасом для них самих, а для собак — ничего. А другого выхода нет. Двое мужчин и женщина сгрудились у огня и принялись за еду. Собаки лежали в упряжке — это была дневная передышка — и с жадностью следили за каждым проглатываемым куском.

<sup>1</sup> Тр ю и з м — очевидная, всем известная истина.

— Сегодня последний завтрак, больше не будет, — сказал Мельмут Кид. — И я вам скажу, держите ухо востро с собаками, они становятся подозрительными. Что им стоит, в самом деле, при удобном случае перервать кому-нибудь глотку?

— А я был когда-то председателем в Эйварее и преподавал в воскресной школе!.. — Выпалив это, Мэйсон погрузился в задумчивое созерцание своих дымящихся мокасин и очнулся только тогда, когда Руфь поставила перед ним кружку чая. — Вот хорошо, что у нас еще есть кирпичный чай! А я ведь видел, как он растет, там, в Теннесси<sup>1</sup>. Что бы я дал сейчас за горячий кусок пирога! Не беда, Руфь: больше ты голодать не будешь. И мокасин носить тоже не будешь.

Женщина просияла при этих словах, и в глазах ее заструилась и поплыла большая любовь к белому господину — первому белому человеку, какого она знала, и первому человеку вообще, который относился к ней — женщине — несколько лучше, чем к выючному животному.

— Да, Руфь, — продолжал ее муж, переходя на тот невообразимый жаргон, на котором они только и могли объясняться между собою. — Погоди только, пока мы это все обделаем! Мы отправимся тогда По Ту Сторону. Мы возьмем лодку Белого Человека и поедем на Большую Соленую Воду. Да, скверная вода, тяжелая вода — целые горы, — вверх и вниз, вверх и вниз — все время. И такая большущая, и такая длинная... Очень далеко. Ты десять раз ляжешь спать, и двадцать раз ляжешь спать, и сорок раз ляжешь спать (для наглядности он подсчитывал по пальцам). И все время вода, скверная вода. А потом мы приезжаем в большую деревню. Народу тьма — вот как москитов в прошлое лето. А вигвамы... о, какие высокие вигвамы — десять елок, двадцать елок... Ха-йу?

Он беспомощно остановился, бросив умоляющий взгляд на Мельмута Кида. Потом, на языке знаков, добросовестно подытожил двадцать елок — точка в точку. Мельмут Кид улыбался немного насмешливо, а у Руфи глаза стали совсем широкие от изумления и удовольствия. Ей показалось даже, что он шутит, и такая снисходительность особенно радовала ее бедное женское сердце.

— А потом ты влезаешь — ну в коробку — и поехала! — Для иллюстрации он подбросил кверху свою пустую кружку и, ловко поймав ее, продолжал: — Пфф! Приехала вниз! О, великие ученые люди! Ты едешь в Форт-Юкон, я еду в Северный город — двадцать пять ночей и длинный шнурок между нами — все время шнурок. Я беру шнурок и говорю: «Алло, Руфь! Как вы там поживаете?», а ты говоришь: «Это мой милый муж?» А я говорю: «Да». А ты говоришь: «Не могу

<sup>1</sup> Теннесси — юго-восточный штат центральной полосы США.

испечь хлеба, соды нет». А я говорю: «Посмотри-ка в шкафчике, под мукой». А потом — «до свиданья». Ты смотришь в шкафчик и находишь массу соды. И все время ты — в Форт-Юконе, я — в Северном городе!

Руфь так непосредственно проявила свое восхищение этой волшебной историей, что оба мужчины расхохотались. Собачий рев сразу обрезал все чудеса По Ту Сторону, и, пока удалось разнять визжащих и рычащих псов, женщина снарядила сани, и все было готово к отъезду.

— Пшли! Черти! Хи-и! Пшли же! — Мэйсон заработал кнутом и, когда собаки налегли в упряжку, сдвинул сани, подпирая их шестом. Руфь последовала со второй упряжкой, оставляя с последней Мельмута Кида, который помог ей сдвинуться. Сильный и грубый, способный свалить быка ударом кулака, Мельмут Кид не мог привыкнуть бить измученных собак и всячески старался ободрять их, что погонщики делают весьма редко. Он даже чуть не заплакал...

— Ну-ну! Пойдем, пойдем, бедные вы, колченогие бестии! — бормотал он после нескольких неудачных попыток самому сдвинуть сани. И в конце концов терпение его было вознаграждено, и с кряхтением и оханьем они торопились догонять товарищей.

Разговоров больше не было: напряженная работа не допускала такой роскоши. Ибо из всех смертельно тяжелых работ северные переезды — самая тяжелая. Счастливы тот, кто может проделать свой дневной путь по наезженной дороге, хотя бы и ценой молчания!

Ибо из всех изнуряющих работ самая тяжелая — пробивать след по снегу. На каждом шагу тяжелые плетеные лыжи проваливаются так, что снег приходится на уровне колен. Теперь вверх, совершенно перпендикулярно вверх, так как уклонение на один дюйм в сторону грозит целой катастрофой: лыжа должна быть поднята до самой поверхности, ни за что не зацепившись. Теперь вперед, то есть вниз, и другая нога с осторожностью поднимается перпендикулярно на расстоянии полуярда<sup>1</sup>. Всякий, кто в первый раз пробует такой способ передвижения — если ему даже посчастливится благополучно вынести из опасности лыжи и не растянуться самому при неверном шаге, — через какую-нибудь сотню ярдов совершенно выбьется из сил. И всякий, кто вынесет целый дневной переезд наравне с собаками, залезает на ночь в свой меховой мешок столь довольный собой и гордый, что и словами не рассказать. А тот, кто может сделать переезд в двадцать ночевок, несомненно, достоин зависти богов.

Послеобеденное время тоже прошло с тою серьезностью и почти жутью в душе, какая рождается в Белом Молчании, — безмолвные

<sup>1</sup> Ярд = 3 фута = 0,9144 м.

путники тянули свою лямку. У природы много различных способов убедить человека в его смертности и ничтожестве — безостановочное движение моря, бешеная сила бури, толчки землетрясений, долгие перекаты небесной артиллерии, но самым поразительным — поражающим до отупения — является воздействие Белого Молчания. Всякое движение остановилось, небо безоблачно и точно вылито из свинца; малейший шепот кажется святотатством, и человек становится робким и пугается звука собственного голоса. Он — единственный знак жизни среди призрачной пустыни этого мертвого мира, и он пугается своей дерзости и чувствует себя несчастным червяком — ничем больше.

Так тянулся день. В одном месте река делала крутую петлю, и Мэйсон захотел для сокращения пути пересечь перешеек. Но собаки не могли взять высокий берег. Один раз, другой — и, хотя Руфь и Мельмут Кид подпирали сани, собаки не брали. Тогда налегли из последних сил. Несчастные звери, ослабевшие от голода, старались как могли. Еще, еще — и сани вскарабкались по крутому подъему. Но передняя собака забрала слишком вправо и запутала в веревки лыжи Мэйсона. Результат был самый плачевный: Мэйсон был сбит с ног, одна из собак упала, и сани поползли вниз, таща все за собою.

Тррр! — бешено заходил длинный кнут по спинам собак, полоснув ту, которая упала.

— Нельзя, Мэйсон! — вмешался Мельмут Кид. — Несчастные бестии и так едва волочат ноги. Подожди, я припрягу своих.

Услышав последние слова, Мэйсон удержал на мгновение кнут, но потом пустил еще раз его змеиные кольца по телу неудачницы. Кармен — это была Кармен — жалобно взывала, зарылась на мгновение в снег, а потом упала на бок, вытянув ноги.

Это был трагический момент: околевающая собака и неминуемая ссора между двумя товарищами. Руфь переводила умоляющий взгляд с одного на другого. Но Мельмут Кид сдержал себя, хотя глаза его явно выражали неодобрение, и, нагнувшись над собакой, перерезал веревки. Ни слова не было сказано. Пришлось впрягать двойную упряжку в каждые из саней, и препятствие осталось позади. Сани тронулись, и околевающая собака тащилась позади всех. Пока животное может передвигать ноги, его не пристреливают. Это последняя милость — тащиться вместе со своими, сколько хватит сил, в надежде на кусок мяса, если только людям посчастливится убить оленя.

Уже раскаиваясь в своем поступке, но слишком упрямый, чтобы признаться в этом, Мэйсон шел впереди каравана, нимало не подозревая, что новая опасность висела над его головою. Шагах в пятидесяти от их дороги возвышалась могучая ель. Целые столетия она

стояла здесь, и целые столетия судьба уготовливала ей этот конец. Быть может, готовила она его также и для Мэйсона.

Он остановился, чтобы подтянуть развязавшийся ремень сапога. Сани стали, и собаки, едва дыша, легли в снег. Тишина была жуткая. Ни малейшее дыхание не шевелило убранного инеем леса. Холод и молчание иной жизни, иных пространств убили душу и сомкнули уста испуганной природы. В воздухе задрожал вздох — они даже не услышали его, а скорее ощутили, как предчувствие движения в застывшей пустоте. И гигантское дерево, сломленное тяжестью снега и своих бесконечных лет, в последний раз сыграло свою роль в трагедии жизни. Человек услышал предостерегающий хруст и хотел отскочить, но было уже поздно — удар пришелся ему по плечу.

Внезапная опасность, близкая смерть — как часто Мельмут Кид стоял с ними лицом к лицу! Иглы ели еще не перестали дрожать, как он уже отдал свои короткие приказания и схватился за дело. Голос индианки тоже не дрогнул в праздных столах и жалобах, что непременно случилось бы с большинством ее белых сестер. По его приказу она бросилась всей тяжестью своего тела на симпровизированный<sup>1</sup> рычаг, стараясь уменьшить тяжесть дерева и прислушиваясь к столам мужа, в то время как Мельмут Кид атаковал дерево топором. Сталь как-то весело звенела, въедаясь в замерзший ствол, и каждый удар сопровождался прерывистым вздохом работающего — «Ху! Ху!».

Наконец Киду удалось освободить из снега то жалкое нечто, что было еще недавно человеком. Но еще страшнее страданий его товарища была тупая мука на лице женщины, ее взгляд, взгляд ничего не видящий, полный надежды и безнадежного вопроса. Немного было сказано. Все, кто с севера, с детства учатся понимать тщету слов и безмерную ценность действий. При температуре в шестьдесят пять ниже нуля человек не может пролежать долго в снегу и остаться в живых. Поэтому сани разгрузили, и несчастный, завернутый в меха, был положен на кучу ветвей. Перед ним развели костер — из того же дерева, которое погубило его. Позади лежащего и отчасти над ним был устроен отражающий экран из брезента, он собирал лучи тепла и направлял их на больного — штука, какую знают все изучавшие физику на деле.

Люди, которые делают свое ложе со смертью, хорошо знают, когда прозвучит призыв. Мэйсон был страшно изувечен. Это было ясно из самого поверхностного осмотра. Его правая рука, нога, а также и спина были переломаны, и все члены были парализованы; не менее тяжки были и внутренние повреждения. Только по столам — редким и тихим — можно было заключить, что он еще жив.

---

<sup>1</sup> Сделанный наскоро.

Надежды не было. И нечего было делать. Жестокая ночь длилась — хорошая доза безнадежного стоицизма<sup>1</sup> индейской расы — для Руфи, а для Мельмута Кида — новые глубокие борозды по бронзовому лицу. В конце концов, Мэйсон страдал меньше всех: он уносился в Восточный Теннесси, в Великие Дымящиеся Горы, вновь переживая свое детство и юность. И самым волнующим были обрывки песен давно забытого родного юга, — когда он бредил о плавучих западнях, об охоте на выдру, о набегах за арбузами.

Для Руфи это был непонятный язык, но Кид понимал и переживал все — так переживал, как только может переживать человек, на целые годы выброшенный из всего, что называется цивилизацией.

Утро привело в сознание умирающего, и Мельмут Кид наклонился к нему совсем близко, чтобы уловить его шепот.

— Помнишь ты, как мы собирались в Танана, четыре года будет, когда тронется лед... Я не очень-то думал о ней тогда. А ведь она была больше для меня, чем хорошенькая, и был во всем этом... да, такой привкус восхищения, что ли. Знаешь, я только потом ее раскусил. Она была мне хорошей женой, Кид. Всегда плечо к плечу в трудную минуту. А уж что до переездов, сам знаешь, такую другую не найдешь. Ты помнишь, как она стреляла там, на Оленьих Порогах, чтобы дать время тебе и мне спуститься со скалы? Пули свистели по воде как град, помнишь? А когда мы все голодали в Нукукието? А когда был ледоход, а она бежала через реку за новостями? Да, она была мне хорошей женой, лучше, чем та, другая... Никогда не говорил тебе, да? Один-то раз пробовал говорить, помнишь, в Штатах? Потому же я и сюда попал. Мы выросли вместе. Я уехал, чтобы был предлог для развода. Она так и сделала.

Но все это не касается Руфи. Я надеялся все ликвидировать к будущему году и уехать на родину вместе с ней — но теперь поздно. Не отсылай ее, Кид, к ее племени. Для женщины чертовски тяжело возвращаться к своим. Ты подумай: почти четыре года на наших бобах и на нашем сале, и муке, и сушеных фруктах — и вернуться на рыбу и на карибу<sup>2</sup>. Ей будет очень тяжело: узнать нашу жизнь и наше обхождение, увидеть, что лучше, чем у своих, и в конце концов вернуться к ним. Позаботься о ней, Кид. И почему бы тебе... Впрочем, ты ведь их боишься всегда... Да и ты не говорил мне ни разу, почему ты-то попал сюда. Будь с ней подорожее, Кид, и отошли ее в Штаты, как только сможешь поскорее. Только устрой все так,

---

<sup>1</sup> Стоицизм (стонки — философы Древней Греции и Рима) в общепринятом смысле — твердость, стойкость в несчастьях.

<sup>2</sup> Канадский северный олень.

чтобы она могла вернуться к своим, если захочет, если у ней, знаешь ли, вдруг сделается тоска по родине.

И насчет малыша... Он нас очень сроднил, Кид. Надеюсь только, что мальчик. Ты подумай — моя кровь! Его нельзя оставить расти здесь. А если девочка? Почему бы и нет... Продай мои меха; за них получишь, на худой конец, пять тысяч, и столько же еще мне должна Компания. Соедини мои деньги с твоими и пусти все вместе в оборот. Мне кажется, что спрос повышается. И ты позаботься, чтобы он получил хорошее образование. И главное, Кид, это прежде всего, пусть он не возвращается сюда. Эта страна не для белых людей.

Я — человек конченный, Кид. Три-четыре ночи самое большое. Ты говоришь, что не хочешь уезжать. Но вы должны ехать! Ты помни, ведь это моя жена, мой мальчик... Господи, только бы мальчик! Ты не можешь оставаться со мной. Я требую, я, умирающий, требую, чтобы ты ехал.

— Дай мне три дня, — просил Мельмут Кид. — Тебе, может быть, станет лучше; все как-нибудь переменится...

— Нет.

— Только три дня.

— Вы должны ехать.

— Два дня.

— Кид, ради моей жены и ради моего ребенка. Ты не должен просить.

— Один день.

— Нет, нет! Я требую...

— Только один день. Можем же мы пожертвовать одним днем. Мы как-нибудь сэкономим на провианте. А я, может быть, набреду на оленя.

— Нет, а впрочем, хорошо: один день пусть, но ни минутки дольше. И еще, Кид, не оставляй — ну, не оставляй меня одного. Раз — и готово. Один раз дотронуться до курка. Ты понимаешь? Подумай! Подумай только! Плоть от моей плоти — а я его никогда не увижу. Пошли сюда Руфь. Я хочу попрощаться с ней и сказать, что она должна думать о мальчике и не ждать, пока я тут буду умирать. А то она, пожалуй, откажется ехать с тобой, если я не скажу. Прощай, старина, прощай. Кид, еще. Вот что, поройся около спуска. Я намыл один раз целых сорок центов с лопаты. И еще, Кид!..

Кид наклонился ниже, чтобы уловить последние, едва слышные слова. Умирающий пересилил свою гордость.

— Мне очень жаль, зачем... Ну ты знаешь — Кармен.

Оставив женщину, тихо плачущую около мужа, Кид надел свою парку и лыжи, вскинул ружье на плечи и пошел в лес. Он не был новичком в суровых страданиях Севера, но ни разу еще не приходи-



лось ему решать такую трудную задачу, как сейчас. Говоря отвлеченно, это была простая математическая задача — возможность спасти три жизни ценою одной, уже обреченной. Но здесь он остановился. Целых пять лет, плечо к плечу, по рекам и дорогам, в полях и рудниках, встречая ежеминутно смерть, опасность и голод, ткали они свою дружбу. И так крепка была эта связь, что часто он замечал, наблюдая за собою, что рвнует товарища к Руфи с того времени, как она встала между ними. И теперь эта дружба будет убита его собственными руками.

И он молился об олене, об одном-единственном олене, но вся дичь точно бежала из этой стороны, и, когда наступила ночь, измученный человек притаился к своим с пустыми руками и истерзанным сердцем. Рычание собак и резкие вскрики Руфи заставили его бежать скорее.

Высочив из леса, он увидел женщину, размахивающую топором посреди бешено ревущей стаи. Собаки преступили железные законы своих повелителей и атаковали провиант. С ружьем наперевес он бросился в середину стаи, и извечная жестокая драма борьбы за существование была разыграна со всей свирепостью, соответствующей окружающей первобытной обстановке. Ружье и топор поднимались и опускались — почти всегда попадая в цель — с монотонной правильностью; гибкие тела зверей взметывались в воздух с дико сверкающими глазами и оскаленными зубами; человек и животное боролись за преобладание, боролись до последнего предела возможности. Наконец избитые животные уползли за линию света, отбрасываемого костром, зализывая свои раны и испуская стоны отчаяния в ночное звездное небо.

Весь запас сушеной рыбы был уничтожен, и путникам оставалось каких-нибудь пять фунтов муки на двести верст пути. Руфь вернулась к мужу, а Мельмут Кид освежевал еще не остывшее тело одной из собак, череп которой был раздроблен топором. Куски мяса были тщательно отобраны и спрятаны, а шкура и внутренности были отданы собакам.

Утро принесло с собою новое беспокойство. Собаки набросились друг на друга. Кармен, которая все еще цеплялась за свое жалкое существование, была разорвана стаей. Кнут безостановочно колотил по их спинам. Они визжали и выли под ударами, но отказывались сдвинуться, пока не были уничтожены последние жалкие клочки: кости, шкура, шерсть — все исчезло.

Мельмут Кид принялся за дело, прислушиваясь к Мэйсону, который уже опять был у себя в Теннесси, разговаривал, бешено спорил и умолял давно забытых друзей и братьев.

Мельмут решил воспользоваться близостью двух молодых елок.

С помощью Руфи он сделал нечто вроде мешка, какие делают иногда охотники, чтобы сохранить мясо от волков и собак. Одну за другой пригнул к земле и друг к другу верхушки молодых елок и связал их ремнями из оленьей шкуры. Потом он усмирил собак и впряг их в двое саней; на них он погрузил все, что у них было, за исключением мехов, в какие был завернут Мэйсон. Кид замотал и обвязал эти меха плотнее вокруг тела умирающего, прикрепив за два конца к верхушкам елок. Одного удара охотничьего ножа было бы достаточно, чтобы отпустить вершины и бросить тело высоко в воздух.

Руфь выслушала последние приказания мужа и не сопротивлялась. Бедняжка слишком хорошо была обучена покорности. С детства она привыкла склоняться и видела, как и все другие женщины склонялись перед господами земли, и ей казалось законом природы, чтобы женщина не сопротивлялась. Кид разрешил ей одну вспышку горя, когда она целовала последний раз мужа — в ее племени так не делали, потом отвел ее к передней запряжке и помог ей надеть лыжи. Тупо, автоматически она взяла кнут и веревку и «подняла» собак в дорогу. А Кид вернулся к Мэйсону, который впал в коматозное<sup>1</sup> состояние; и долго еще после того, как она скрылась из вида, Мельмут Кид, сгорбившись у огня, ждал, надеялся, просил, чтобы смерть сама пришла к его товарищу.

Невесело оставаться одному с тяжелыми мыслями в Белом Молчании. Темная тишина ночи — добрая тишина. Она точно прячет, защищает человека, касается до него тысячами неосозаемых прикосновений. Но яркое Белое Молчание, прозрачное и холодное, под тяжестью свинцового неба — оно безжалостно.

Прошел час. Два часа. Но человек не умирал. В полдень солнце, не поднимаясь над южным горизонтом, разбросало вспышки огня по небу и так же быстро стерло их опять. Мельмут Кид поднялся, подошел к товарищу и посмотрел на него. Белое Молчание насмешливо следило за ним, и ему стало невыносимо страшно. Раздался короткий выстрел, и Мэйсон взлетел в свою воздушную гробницу, а Мельмут Кид пустил собак бешеным галопом.

## СЫН ВОЛКА

Мужчина редко умеет ценить близких ему женщин — до тех пор, по крайней мере, пока не потеряет их. До его сознания совершенно не доходит тонкая атмосфера, излучаемая женщиной, пока он сам купается в ней; но стоит ей уйти — раскрывается и растет в его жизни

<sup>1</sup> Кома — болезненная спячка, оцепенение.

пустота, и им овладевает странный голод по чему-то неопределенному, чего он не умеет назвать словами. Если друзья, окружающие его, так же неопытны, как и он сам, они будут сомнительно качать головами и предложат ему серьезно лечиться. Но голод будет все расти и становиться острее; мужчина потеряет всякий интерес к событиям ежедневной жизни и станет раздражительным. И в один из дней, когда эта пустота станет совершенно невыносимой, на него снизойдет откровение.

Когда нечто подобное происходит на Юконе<sup>1</sup>, мужчина достает себе лодку — летом — или запрягает собак в сани — зимой — и едет на Юг. И через несколько месяцев, если он только привязан так или иначе к Северу, он возвращается назад с женой, которая отныне будет делить его привязанность к Северу и его труд. Все это говорит, конечно, прежде всего о врожденном мужском эгоизме. И одновременно оно может служить введением в описание приключений Скрэфа Маккензи, случившихся с ним очень давно, раньше, чем страна Юкона была запружена «че-ча-квас'ами», еще тогда, когда Клондайк был известен только своими рыбосушильнями.

На Маккензи отразилось его пограничное происхождение и жизнь пограничника. На лице его отпечатались двадцать пять лет непрестанной борьбы с природой, из которых последние два года — и самые жестокие — он провел в поисках золота за пределами Полярного круга. Когда описанная выше болезнь захватила его, он несколько не удивился, так как был человек практичный и много раз видел людей в таком же положении. Но он подавил все признаки болезни и только стал еще упорнее работать. Все лето он боролся с москитами и мок на берегу Стюарт-Ривер, сплавая лес вниз по Юкону до Сороковой Мили, и в конце концов построил себе такую комфортабельную хижину, какая только может быть построена в этой стране. Она выглядела настолько привлекательно и уютно, что несколько человек навязывались к нему в компаньоны, предлагая поселиться вместе. Но он наотрез отказывался, и притом довольно грубо, что вполне соответствовало его сильному и решительному характеру, а сам, однако, закупил через почтовую станцию двойной запас провианта.

Скрэф Маккензи был человек практичный, как это было указано выше. Если он чего-нибудь хотел, он обыкновенно добивался своего, но при этом не отступал от ранее намеченного пути, лишь настолько, насколько это было необходимо. Кровному сыну тяжелой нужды и тяжелого труда совсем не по душе было бесконечное

---

<sup>1</sup> Юкон — главная река Аляски. Берет начало в прибрежных скалах Британской Колумбии, впадает в залив Нортон Берингова моря.

путешествие в шестьсот миль по льду, две тысячи миль через океан да еще около тысячи миль до родных мест — все это из-за какой-то одной жены. Жизнь слишком коротка для таких прогулок. Он собрал собак, погрузил в сани довольно странную поклажу и пустился напрямик между двумя водоразделами, восточные холмы которых подступали к Танане.

Он был смелым путешественником, а его собаки-волкодавы выносили на худшей пище более тяжелую работу и более длинные перегоны, чем всякая другая запряжка в Юконе. Через три недели он добрался до племени стиксов Верхней Тананы. Те очень удивились его дерзости. За ними установилась плохая слава; говорили, что они убивают белых людей из-за такой безделицы, как хороший топор или старое ружье. А он пришел к ним безоружный, и во всем его поведении была очаровательная смесь заискивающей скромности, фамильярности, холодной выдержки и наглости. Нужно хорошо набить руку и глубоко изучить душу дикаря, чтобы с успехом пускаться в ход столь разнообразное оружие; но он мастер своего дела и знал, когда уступить, а когда — наоборот — торговаться до иступления.

Прежде всего он отправился на поклон к вождю племени, Тлинг-Теннеху, и подарил ему пару фунтов черного чая и табака, чем и завоевал его несомненную благосклонность. После этого он вменялся в толпу мужчин и девушек и объявил, что вечером даст потлáч. Утоптали овальную площадку в сто шагов в длину и двадцать пять в ширину. В середине был разложен большой костер, а по обеим его сторонам набросали кучи сосновых веток. Было устроено нечто вроде трибуны, и человек сто пели песни племени в честь прибывшего гостя.

Последние два года научили Маккензи сотне слов на их наречии, и он в совершенстве перенял их глубокие гортанные гласные, их языковые конструкции, близкие японским, все их величания, приставки и прочие особенности их языка. Он произнес речь в их вкусе, удовлетворяя их врожденную склонность к поэзии потоками туманного красноречия и образными оборотами. Ему отвечали в том же духе Тлинг-Тиннех и главный шаман. Потом он раздарил всякие мелочи мужчинам, принял участие в их пении и показал себя настоящим чемпионом в игре в пятьдесят две палки.

А они курили его табак и были довольны. Но молодые держали себя несколько вызывающе — петушились, поддерживаемые явными намеками беззубых матрон и хихиканьем девушек. Им пришлось столкнуться на своем веку всего с несколькими белыми — Сыновьями Волка, но эти немногие научили их очень странным вещам.

Маккензи, конечно, отметил этот факт, несмотря на всю свою кажущуюся беспечность. Если сказать правду, то, лежа поздно но-